

XVII—XVIII ВЕКА

Д. С. Менделеева

В ПОИСКАХ АВТОРА «ПОВЕСТИ ОБ АЗОВСКОМ ОСАДНОМ СИДЕНИИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ»

Уникальный комплекс азовских повестей является предметом постоянного интереса исследователей уже около века — со времен опубликования их академиком А. С. Орловым в начале XX столетия. С тех пор внимание поэтической «Повести» неоднократно уделяли как историки [Смирнов 1946; Новосельский 1948 и др.], так и филологи [Сутт 1939; Робинсон 1946; 1948; 1949 и др.], многие работы которых уже и сами успели стать библиографической редкостью. И все же ряд новых наблюдений заставляет нас опять вернуться к изучению этого сочинения, заново поставить уже решенные, казалось бы, вопросы.

Обстоятельства возникновения интересующего нас сочинения исследователи обыкновенно рисуют следующим образом: оказавшись в Москве уже после событий азовской осады в составе казацкой станицы, прибывшей умолять московского государя принять Азов в российское подданство, есаул Федор Порошин (бывший «по совместительству» автором полученной здесь годом ранее довольно дерзкой отписки, в которой сообщалось, что, если Михаил Федорович не изволит принять город в свою вотчину, а его защитников наградить достойным жалованием, «брести» им «всем врозь» [Робинсон 1946: 66]) решает на смелый и весьма необычный для

своего времени шаг: он создает новое сочинение, литературные достоинства которого должны были не только привлечь внимание московской общественности к азовским событиям, но и, по возможности, повлиять на решение этого вопроса Земским собором и лично царем Михаилом Федоровичем. Именно с этого момента история создания азовской повести нуждается, на наш взгляд, в ряде серьезных уточнений.

«приехали к царю... донские казаки»

Итак, в конце октября 1641 года, примерно за два месяца до начала работы Земского собора, в Москву прибыла казачья «легкая станица» во главе с атаманом Наумом Васильевым. Документов, которые подробно описывали бы жизнь казаков в столице, до нас не дошло, что оставляет некоторую свободу для творческой фантазии исследователя. Так, А. Н. Робинсону представлялось, что донцов приняли в Москве крайне недоброжелательно. Уже имея определенную позицию по азовскому вопросу, правительство будто бы всячески пыталось ограничить контакты станицы с местным населением; казаки находились в местах своего постоя чуть ли не под домашним арестом и имели выход только в Посольский Приказ. Подтверждение этому исследователь видит еще и в том, что члены станицы не были допущены до участия в работе Земского собора [Робинсон 1948: 38–39]. Именно в этих условиях, в качестве хоть какого-то способа воздействия на общественное мнение есаулом прибывшего в Москву посольства — бывшим холопом князя Одоевского — Федором Ивановичем Порошиным — и была якобы написана поэтическая «Повесть», к тому же сыгравшая впоследствии весьма печальную роль в судьбе своего создателя (в середине февраля 1612 года он неожиданно был «снят с довольствия», осужден и отправлен в Сибирь).

Нам, однако же, представляется, что события развивались несколько иначе. Прежде всего, стоит заметить, что предположение исследователя о приставлении стражи к членам станицы было основано всего лишь на аналогии с описанным в книге В. Г. Дружинина подобным случаем, действительно имевшим место, но гораздо позднее — в 1675 году, и обусловленным своими конкретными историческими обстоятельствами [Дружинин 1889: 49]. В тот же раз, насколько позволяют судить материалы донских дел, сохранившиеся до наших дней в документах Посольского Приказа,

героев азовской осады встретили в Москве чрезвычайно радушно. Из этих бумаг следует, что казаки прибыли в столицу в конце октября 1641 года (привезенная ими с собой «роспись» была подана в Посольский Приказ 28 числа), а уже 1–2 ноября вышло распоряжение о выплате им небывало высокого «корма» и огромных наградных — деньгами и вещами. Причем в документе есть особое повеление чиновникам поторопиться с выдачей этих денег — «то государево жалование... казакам велеть изготовить дати тотчас» [РИБ 24: ст. 258]. Здесь же находим указание на возможно имевшую место царскую аудиенцию: «дати им то государево жалование при нем, государе, казаком» [Там же: ст. 258]. (В то время, как обычно, деньги выдавались «в Приказ», да и выплачивались, судя по всему, не сразу — ср. замечание на «памяти» в Приказ Большого Прихода об отпусках для нескольких станичников, отправленных обратно на Дон чуть позже — в начале 1642 года — с дворянином Афанасием Желябужским: «государево жалованье Донским казаком велети дати тотчас — отпуск им с Москвы вскоре» [Там же: ст. 272].)

Что же до участия донской станицы в заседаниях Земского собора, которого якобы всячески старались избежать московские власти, то едва ли посольство иностранной державы (каковой формально являлось Войско Донское) имело право участвовать в работе этого сугубо внутригосударственного органа. Имевшая же место и отмеченная А. Н. Робинсоном переработка документов (составление на основании войсковой отписки боярского доклада и т. д.) также представляется нам обычной практикой. (Необходимо заметить, что войсковые отписки нередко не только отличались весьма тенденциозным характером, но и содержали сведения совсем уж конфиденциального плана: напоминания московскому управительству о сроках присылки жалования, просьбы о предоставлении торговых льгот, недвусмысленные намеки на необходимость поощрить представителей Войска — и совершенно не предназначались к оглашению вовне.)

Более того, хотя документов, детально описывающих жизнь членов станицы в Москве, как мы уже говорили, до нас не дошло, сохранившиеся, далеко не полные, бумаги все же свидетельствуют: казаки жили в столице настолько вольно, что к ним даже прибывали разные люди, которые их в конце концов обокрали. В челобитной Наума Васильева, поданной в Посольский Приказ 28 марта 1642 года, читаем: «...марта в 25 день жил у меня вольной малой Антошка Кириллов сын, подговорил у меня того малова... Нижнево Печерсково монастыря слуга Гаврило Казанцов... а снес той малый

у меня...» [РИБ 24: ст. 407]. Далее следовал весьма солидный список различной атамановой «рухляди». Указанный «малый» был в тот же день разыскан и допрошен и, в числе прочего, показал, что жил у Наума Васильева «недель с восьмь» [Там же: ст. 409], то есть, по-видимому, с конца января 1642 года. Вся эта история, хотя и относящаяся к несколько более позднему — уже после Земского собора — периоду московских злоключений донских казаков, как-то не вяжется с описанной А. Н. Робинсоном обстановкой строгой секретности, царившей вокруг казачьего посольства.

Из тех же донских дел можно почерпнуть весьма любопытные сведения и о судьбе казачьего есаула — вероятного, по мнению исследователей, автора поэтической «Повести». Его арест, случившийся 17 февраля 1642 года [РИБ 24: ст. 398], был, судя по всему, результатом какого-то весьма поспешного судебного разбирательства, так как еще 6 февраля Федор Порошин вместе со своим атаманом как ни в чём не бывало давал показания в Посольском Приказе о судьбе группы воронежских полковых казаков во главе с Тихоном Плотниковым, которые весной 1641 года доставляли защитникам Азова царское жалование и были оставлены в городе на время осады. (Казаки требовали заплатить им за труды и перенесенные тяготы.) Возможно, ключ к решению этой загадки дает нам документация следующей прибывшей в Москву из Азова казачьей станицы, во главе с атаманом Абакумом Сафоновым, фигурирующая в бумагах Приказа под 28 марта 1642 года. Конечно, нельзя не понимать, что ее составителями, получившими по прибытии в Москву несравнимо меньшее жалование, двигала, в том числе, элементарная жажда наживы. Действуя по следам какого-то уже состоявшегося дела, казаки довольно беззастенчиво выдвигали всевозможные обвинения против несчастного есаула, повредить которому уже не могли. И все же сведения, содержащиеся в этой челобитной, кажутся нам более чем любопытными. Здесь, в частности, говорится: «он, Наум... станичной атаман, а не войсковой, а то он, Наум, был войсковой атаман до Азовской осады на Дону, а в Азовскую осаду был он в рядовых. А войсковой у нас атаман один, и тот в Азове, а то государь, плутал без войскового ведома Федор Порошин, собою написал его, Наума, войсковым атаманом, а себя войсковым ясаулом... и дано им твое государское жалование» [РИБ 24: ст. 313]. И все же, при всем желании видеть в этих словах элементарный навет, обращают на себя внимание некоторые нестыковки. Наум Васильев действительно вплоть до зимы 1642 года (а также в итоговой выписи, которая составлялась позднее) неизменно числится в

документах Приказа именно *войсковым* атаманом. В то же время в отписке, привезенной донцами с собой в Москву, особо упоминается другой казачий лидер — атаман Осип Петров. (Содержание этой не дошедшей до нас «рописи» довольно легко реконструировать благодаря обычаю посольского делопроизводства в ответных документах воспроизводить значительную часть исходного. Различные фрагменты войсковой отписки от 28 октября 1641 года, таким образом, можно встретить в бумагах Приказа трижды: в выписке о посылке в Азов дворянина Афанасия Желябужского 8 марта 1642 года [РИБ 24: ст. 260–263] и в двух царских грамотах Войску Донскому — от 2 декабря 1641 года [Там же: ст. 364–369] и от 30 апреля 1642 года [Там же: ст. 338–342].)

Возникает вопрос, а не являемся ли мы свидетелями довольно-таки смелой попытки есаула, пользуясь чрезвычайной подвижностью выборных казачьих должностей, ввести в заблуждение московские власти, несколько «повысив» статус своего посольства не без тонкого расчета на радушный прием и богатые подарки? Можно предположить, что афера эта была раскрыта лишь в феврале 1642, когда в Москву стали прибывать разнообразные выходцы из Азова, способные прояснить подлинное положение дел. (Так, 22 января в Посольском Приказе «явился» некий казак Петр Федоров, следовавший через Москву на богомолье [РИБ 24: ст. 375–378], а 6 февраля здесь появилась уже упомянутая выше группа воронежских челобитчиков.) Закономерным следствием разбирательства по делу, таившему в себе опасность международного скандала, и мог стать арест второго человека в посольстве — есаула Федора Порошина¹.

Косвенным подтверждением именно такого развития событий может, на наш взгляд, служить и некоторая неопределенность с казачьим жалованием, лихорадившая московские Приказы еще очень долго — вплоть до начала 1644 года. Обычный порядок его выплаты состоял в том, что каждый раз после прибытия в Москву членов очередной станицы в Посольский Приказ посылался запрос о размере вознаграждения, полученного предшественниками. Когда, ссылаясь на пример Наума Васильева и сетуя о нанесенном им великом оскорблении, казаки Абакума Сафонова выпросили-таки себе значительную денежную прибавку, в распорядительных документах было особо оговорено, что дается она «иным не в образец» [РИБ 24: ст. 323]. Тем не менее, на тот же пример Наума Васильева позднее ссылался и Осип Петров, посетивший Москву в конце 1643 года уже в качестве станичного атамана. Конец этой истории положил лишь специальный запрос о том, сколько жалования получают казаки,

приезжающие в Москву с войсковыми отписками, который был отправлен в Посольский Приказ из Приказа Казанского дворца 11 февраля 1644 года [Там же: ст. 507–508].

«...а в росписи той сказано...»

Обращаясь непосредственно к содержанию азовской «Повести», отметим, прежде всего, что суждение, высказанное когда-то А. Н. Робинсоном, будто бы она является поэтическим близнецом войсковой отписки от 28 октября 1641 года [Робинсон 1948: 40], представляется нам несколько предвзятым. Существенные расхождения между этими двумя сочинениями отмечал еще Н. Я. Сутт, выделяя в качестве главных из них различие дат начала штурма (7 июня – в отписке и 24 июня – в «Повести», последняя дата – как время начала мощных артиллерийских обстрелов Азова – подтверждается другими документами донских дел [РИБ 24: ст. 213, 216]); обращение к атаману Осипу Петрову (как известно, не упомянутому ни в одном из найденных списков «Повести») и фигурировавшее в грамоте подробное описание турецкого флота и артиллерии [Сутт 1939: 11]. От себя добавим, что войсковая отписка, в отличие от поэтической повести, содержала, по-видимому, некоторые предложения Войска о восстановлении азовских укреплений (на этот фрагмент позже ссылался Афанасий Желябужский [РИБ 24: ст. 263–264]); впервые за всю четырехлетнюю азовскую эпопею в «росписи» присутствовала просьба Войска не просто «принять Азов в царскую вотчину», но направить на помощь казакам «государева воеводу с ратными людьми» [Там же: ст. 261], в то время как ранее обладатели крепости всячески противились присылке туда русских регулярных частей и ходатайствовали лишь о свободном пропуске к ним «торговых людей со всякими запасами и товарами» [Новосельский 1948: 258–259]. В отписке не упомянуты какие-либо переговоры, которые защитники крепости могли вести с турецкой стороной (отразившиеся в «Повести» в виде многословных «речей»), а сказано лишь, что «злочестивые» «перекидывали на стрелах многие свои грамоты», содержавшие, в том числе, и обильные денежные посулы [РИБ 24: ст. 368]. Вообще же все описание азовских событий в войсковой отписке выглядит по сравнению с «Повестью» более беглым, «документальным», оно гораздо беднее на эмоции. Таким образом, несмотря на ряд значительных переключек, существовавших между «Повестью об азовском

осадном сидении донских казаков» и войсковой казачьей документацией начала 40-х годов XVII века, интересующая нас «Повесть» является вполне самостоятельным литературно-публицистическим сочинением, отличающимся своими особыми, только ему присущими чертами авторского стиля, а его составитель преследовал, по-видимому, свои особые задачи и цели.

Обратимся теперь непосредственно к проблеме, обозначенной в заглавии наших штудий. Существование значительного количества расхождений между «Повестью об Азове» и войсковой отпиской от 28 октября становится понятным, если учесть, что есаул прибывшей в Москву осенью 1641 года казачьей станицы не мог принимать в составлении последней сколько-нибудь значительного участия. И действительно, обычной практикой в отношении Войска Донского с Посольским Приказом был, по-видимому, следующий порядок: войсковые отписки, предназначенные для отправки в Приказ, неизменно составлялись на Дону при участии атамана и всего казачьего круга; решающую же роль в оформлении этих важных политических документов играли войсковые есаулы — люди, владевшие не только грамотой, но и стилем, сумевшие освоить хотя бы некоторые тонкости посольского делопроизводства. Затем отписки вверялись на попечение посылаемых в Москву казачьих станиц, которые, по мере отпуска их участников обратно на Дон, обязаны были тем же порядком доставить туда ответные царские послания и распоряжения Войску. Никакие документы, могущие сравниться в своем значении и содержании с войсковыми отписками, участниками посольств на месте (в Москве) не составлялись, а все, что эти люди могли сообщить, так сказать, от себя, — сведения о происшествиях, имевших место в дороге, непременно — о ценах на съестные припасы в Азове и прилегающих к нему областях, а также необходимые разъяснения к содержанию официальных бумаг, — заносилось дьяками Посольского Приказа в особые «росспросные речи». Таким образом, отписка, поданная московским делопроизводителям казаками станицы Наума Васильева 28 октября 1641 года, на самом деле была составлена в Азове примерно месяцем ранее (скорее всего, сразу же после снятия турецкой осады), составителем же ее, судя по всему, был помощник войскового атамана Осипа Петрова — войсковой есаул, имени которого история для нас не сохранила.

Что же до «Поэтической повести об Азове», появившейся в Москве зимой 1641–1642 годов, то, судя по стилю и упомянутым здесь многочисленным мелким подробностям осады, по крайней

мере, одним из ее авторов был непосредственный участник азовских событий. Им вполне мог стать Федор Порошин — по наблюдениям А. Н. Робинсона, едва ли не единственный грамотный человек во всем прибывшем в Москву посольстве [Робинсон 1946: 68], для которого составление «Повести» в форме казачьей «рописи» могло, кроме всего прочего, служить своеобразной моральной компенсацией, удовлетворением страдающего честолюбия. В пользу участия станичного есаула в работе над «Повестью» говорят и многочисленные переключки ее с войсковыми отписками 1640–1641 годов — времени, когда предводителем Войска Донского был Наум Васильев, — наличие которых отмечал еще Н. Я. Сутт [Сутт 1939: 20]. В то же время необходимо отметить, что многие образы, использованные автором азовской «Повести», к тому времени весьма прочно вошли в сознание казаков и в документы Посольского Приказа: так, азовские церкви — «дом Ивана Предтечи и великого чудотворца Николы» — упоминаются в «роспросных речах» воронежских станичников от 26 июня 1640 года [РИБ 24: 46], за «московских чудотворцев» призывали постоять казаки нижних городков в «памяти», доставленной воронежскому воеводе Андрею Солнцеву 11 августа 1641 года [Там же: ст. 250], а об оглушительной стрельбе, гремевшей над Азовом все осадное лето, рассказывали в Москве не только многочисленные очевидцы азовской осады, но и жители Черкасского городка, отстоявшего от Азова на 30 верст [Там же: ст. 233–234].

Наряду с этим, в «Повести» фигурирует ряд сведений, которые едва ли могли быть известны простому станичному есаулу, тем более до его появления в Москве. В первую очередь это касается помещенной в самом финале «Повести» приписки о количестве запасов, необходимых для дальнейшего удержания Азова. Вопреки мнению А. Н. Робинсона, считавшего, что речь здесь идет о восстановлении города, подлинное состояние которого могло стать известно боярам «только от Наума Васильева “с товарищи”» [Робинсон 1948: 39] (отправленная для соответствующих наблюдений команда Афанасия Желябужского вернулась в Москву лишь в марте 1642 года), в указанную сумму должно было обойтись всего лишь годовое содержание регулярного азовского гарнизона, об отправлении которого шла речь на Земском соборе [Новосельский 1948: 310]. Несомненно, что соответствующие сведения могли попасть в «Повесть» как минимум не ранее начала подготовки Собора, и то стали бы известны автору лишь от весьма узкого круга компетентных лиц.

Еще интереснее, чем с возможно более поздней по происхождению припиской, обстоит дело с тем фрагментом «Повести», где автор приводит будто бы обращенные к туркам речи азовских защитников о том, что казаков весьма не жалуют в Московском государстве. На первый взгляд, наблюдение А. Н. Робинсона, сблизившего этот фрагмент азовской повести с грамотой, отправленной из Москвы турецкому султану в сентябре 1637 года [Робинсон 1948: 44], кажется вполне оправданным. Документы подобного содержания отправлялись из Москвы в Стамбул и позднее — в 1641 и следующих годах [Новосельский 1948: 241]. Однако объявить этот фрагмент «Повести» простым заимствованием мешает одно весьма существенное обстоятельство — тайна дипломатической переписки, которая, по наблюдениям специалистов, неукоснительно соблюдалась и в XVII веке [Рогожин 1994: 79]. Правда, в истории московско-донских отношений середины XVII века бывали случаи, когда казакам удавалось весьма подробно ознакомиться с бумагами различных официальных лиц. Так, например, осталась неясной судьба архива справедливо заподозренного казаками в шпионаже и убитого ими в 1637 году при проезде через донские земли турецкого посла Фомы Кантакузина. (Прямым последствием этого убийства, помимо разгоревшегося политического скандала, была царская грамота Войску от 31 декабря 1637 года, предписывавшая «которые грамоты к нам, великому государю, посыланы были от турскаго Мурат салтана... и наказ Томин, и всякое письмо, хотя будет и распечатано, велено вам прислать к нам же, к Москве» [РИБ 18: ст. 593].) Несколько позже подобным же образом пропали и бумаги турецкого посольства, добравшегося в Москву в начале 1642 года. Однако, согласимся, сложно было бы предположить, что казаки занимались регулярной перлюстрацией всей проходящей через подконтрольные им территории дипломатической переписки. Не исключено, конечно, что некоторые подробности содержания царских грамот могли стать известны участнику азовской осады от штурмовавших город турок. Однако гораздо более вероятным представляется другое предположение: у составителя «Повести» был соавтор (или, по крайней мере, информатор) в стенах Посольского Приказа.

На мысль о значительной писательской и редакторской работе, проделанной, возможно, целым коллективом авторов, наводят нас, в том числе, некоторые черты самой «Повести», которая, при ближайшем рассмотрении, все менее и менее напоминает простые записки очевидца событий. И действительно, Федор Порошин про-

являет себя здесь как человек нерядовой начитанности, которому, без сомнения, были хорошо знакомы многочисленные древнерусские воинские повести², казачий воинский фольклор (на него он временами ориентирует лексику и ритмику своего сочинения). Однако в то же время, создавая свою повесть, секретарь казачьей станицы почти чудесным образом принимал во внимание и тот интерес, которым пользовались сочинения подобного рода у московской читающей публики³. Своеобразным литературным прообразом цитируемых в «Повести» взаимных посланий защитников и завоевателей Азова (которых, напомним, не было в войсковой отписке) могла послужить легендарная переписка Ивана Грозного с турецким султаном, вышедшая в 1630-х годах именно из стен Посольского Приказа. Однако наиболее интересным литературным приемом из тех, что использовал составитель «Повести», тем штрихом, который придает ей особую идейную цельность, является включение в ее литературный контекст библейской Книги Откровение.

При этом прямых цитат из Апокалипсиса в «Повести» почти нет; наиболее близким библейскому тексту следует, пожалуй, считать выражение, с помощью которого автор описывает состояние природы, сопутствующее началу турецкого штурма: *«солнце померкло во дни том светлое, в кровь обратилось»* (соответствующий фрагмент Острожской Библии читается как *«солнце мрачно бысть, яко вретисе власяно, и луна бысть яко кровь»*) ([Библия. Л. 65 об. (шестой счет)]; Апок. 6:12). Хотя мы и можем предположить, что в осажденном Азове, обитатели которого не единожды готовились встретить свой смертный час, не было книги более читаемой и слушаемой, нежели библейское повествование о конце времен, составитель «Повести», по всей видимости, не был знаком с текстом Нового Завета настолько, чтобы приводить из него дословные цитаты (как это сделал бы автор духовного звания). Автор сочинения об Азове действует иначе, мастерски вплетая в свое повествование наиболее запомнившиеся ему библейские образы. Благодаря этим аллюзиям отображенная в «Повести» картина обороны города приобретает новые эсхатологические оттенки.

Так, например, из всей какофонии шумов, производимых турецким войском под стенами Царьграда, писатель выделяет «трубю великих труб», а начавшаяся стрельба ассоциируется у него с представлением о «страшной грозе небесной» и «громом от владыки с небесе»⁴. Это явно мистическое описание происходящего, впечатление от которого еще более усиливается упоминанием различных непонятных и таинственных звуков — «великих несказанных пи-

сков» и «страшных бусурманских голосов», как-то не стыкуется с цитируемым далее бравым ответом защитников Азова «толмачем и голове яныческому: «Видим всех вас... силы и пыхи царя турецкого все знаем мы. И ведаемся мы с вами, турецкими, почасту...» Зато на память сразу приходят многочисленные отрывки библейского повествования, вроде следующих: «И слышах за собою глас велий, яко трубу» ([Библия. Л. 64 (шестой счет)]; Апок. 1:10), «И от престола исхождаху молния и громи и гласы» ([Библия. Л. 65 (шестой счет)]; Апок. 4:5) и т. д.

Используя подобные отсылки к библейскому тексту, автор азовской «Повести» получает возможность давать свою завуалированную оценку происходящим событиям и их участникам. Так, приводимое им описание турецкого войска: «и все у них огненно... по збруям их одинакая красная яко зоря кажется» — могло опираться, помимо непосредственных впечатлений участника событий, на заимствованный из Апокалипсиса образ свирепой конницы, «имуща броня огненны, акинфы и жупелны» ([Библия. Л. 66 об. (шестой счет)]; Апок. 9:17). А главное, на фоне глобальных событий Книги Откровение совершенно органичной выглядит та полемика, которую защитники Азова ведут с правителем Турции.

Удивительное дело, но основной смысл взаимных речей, которые якобы произносят — от имени турецкого султана — глава янычар, а затем и представители азовского гарнизона, состоит отнюдь не в обсуждении каких-то насущных проблем, вроде условий сдачи города (хотя говорят и об этом). Вовсе нет, эти тщательно составленные автором «речи», несомненно, являются смысловым ядром всего произведения и были призваны максимально воздействовать на московскую публику. Автор здесь еще и еще раз напоминает читателям соотношение противоборствующих армий (7590 казаков «сидящих во Азове» против трехсот тысяч «писмянных сил» «турецкого царя»), а также дает довольно ясное представление и о беспринципной политике султана, готового если не силой и денежными посулами, так грубой и коварной лестью переманить на свою сторону храбрых воинов, и о неприглядном поведении России в отношениях с казачеством, и о самом казачестве с его рыцарством и бесконечной преданностью устоям православия. Однако самым главным моментом в содержании этих речей, на широкое, хотя и негласное обсуждение которого при московском дворе, судя по всему, весьма рассчитывал автор «Повести», была проведенная здесь тонкая сатира на великого государя. Разумеется, автор, тем более желавший снискать своим сочинением милость и содействие

властей, не мог позволить себе никаких прямых резких высказываний по высочайшему адресу. Напротив, содержащаяся в «Повести» характеристика «великого, пресветлого и праведного царя, великого князя Михайло Федоровича» даже дала повод А. Н. Робинсону говорить о «наивном монархизме» Федора Порошина [Робинсон 1948: 45]. Весьма двусмысленно выглядит здесь характеристика... турецкого султана. Повелитель исламской империи общо охарактеризован в азовской «Повести» как «великой государь восточной», далее он же оказывается «верным стражем гроба божия», единственным избранником на свете «ото всех царей» — столь необычные характеристики из уст христианского автора, казалось бы, совсем не подходят для обозначения правителя-мусульманина. Правда, по наблюдениям М. Д. Каган, сходные наименования османского владыки фигурировали во многих легендарных переписках XVI—XVII столетий, где они традиционно становились предметом сатирических перевертышей [Каган 1958: 314]. Однако же действие поэтической «Повести» разворачивается несколько иначе: здесь мы практически не найдем тех уничижительных прозвищ, пространные ряды которых и создавали значительную долю комического эффекта легендарных переписок. Более того, автор, как кажется, склонен развивать заявленную им в титулатуре султана христианскую тему вполне серьезно. Так, обида, будто бы причиненная турецкому правителю «взятием» Азова, якобы даже позволяет «яныческому главе» говорить о том, что защитники города «положили на себя лютое имя звериное» (в чем вполне правомерно, как нам кажется, увидеть еще один перифраз Книги Откровение, Апок. 13:16). Более того, этот новоявленный хранитель главных христианских святынь тут же обещает защитникам Азова, в случае перехода к нему на службу, «печати богатырские с золотом, с царевым клеймом своим». Помимо реально существовавшей в XVII веке традиции ношения наградных монет — прообразов современных медалей⁵, — в этом необычном посуле можно усмотреть очередной намек на текст Апокалипсиса, а именно те его стихи, где говорится об особом «запечатлении праведников» «печатью Бога живаго» (Апок. 7:2—8)⁶. Особая же пикантность ситуации состоит в том, что подобное описание турецкого султана так и остается в рамках образной системы «Повести» без надлежащей антитезы. Конечно, в своем ответе казаки мимоходом упоминают и вселенскую гордость турецкого правителя, и его совсем не рыцарское желание спрятаться от честного прямого боя за огромной наемной армией; весьма искусно, сохраняя выдержку и политический нейтралитет, они

якобы по-своему объясняют нежелание московского государя вступить в открытое противоборство с Турцией, и даже обещают «худому свиному наемнику» после удачного азовского «опыта» взять у него еще Иерусалим и Царьград. Однако же русский государь, хоть и упорно не желающий собрать на сражение против «турского царя» «болши легеона тысящи» своих «государевых русских людей» (возможно, еще одна библейская аллюзия — на сей раз на Евангелие от Матфея: Иисуса Христа и «двенадцать легионов ангелов» (Мф. 26:53)), но все же и так «полон и богат от бога... данными своими и царскими оброками», выглядит в этих высокоидейных рассуждениях ничуть не лучше турецкого правителя с его «смердным бусурманским и собачьим богатством»⁷.

Таким образом, на наш взгляд, оказывается несостоятельным еще одно звено в цепи рассуждений изучавших «Повесть» специалистов: создавая свою версию повествования о штурме и обороне Азова, ее автор (или авторы) вовсе не собирались доказывать кому-либо (а тем более широким кругам московской общественности) самую необходимость обороны Азова. За активные действия России в Причерноморье высказывался, как известно, еще предшествующий Земский собор — 1639 года (подробнее об этом см. [Шумилов 1975]). Тогда как, собственно, и на Соборе 1642 года камнем преткновения оказался вопрос поиска средств, необходимых для проведения столь широкомасштабной военной кампании [Новосельский 1948: 310]. Тем самым основное назначение азовской «Повести» видится нам в другом — ее личном обращении к государю: неизвестный составитель как бы провоцировал Михаила Федоровича немедленно вмешаться в этот военный конфликт и своими решительными действиями не только оправдать ожидания наиболее лояльных престолу читателей, но и развеять возникшие было сомнения наиболее строптивых.

Итак, итогом наших наблюдений над «Повестью об азовском осадном сидении донских казаков» можно считать следующее:

1) Поэтическая «повесть об Азове» является самостоятельным и самобытным литературно-публицистическим произведением, совершенно отличным от казачьей войсковой отписки 28 октября 1641 года, эти два сочинения созданы разными авторами.

2) Принимая во внимание многочисленные образные переклички «Повести» с войсковыми отписками 1640—1641 годов, можно предполагать, что Федор Иванов Порошин действительно принимал участие в составлении азовской «Повести», однако, по всей

видимости, он не был единственным ее автором; скорее всего, свидетельства этого очевидца событий на Дону лишь послужили материалом для писательских опытов кого-то из служащих Посольского Приказа. (Яркий антиправительственный характер повести (мысли о котором прослеживаются в работах А. Н. Робинсона) в данном случае не может служить помехой, так как на самом деле разброс мнений различных группировок середины XVII века по азовскому вопросу был значительно более широким. Активную антиосманскую позицию в этом русско-турецком конфликте, наряду с казачьим посольством, занимали, например, находившиеся при московском престоле представители православного греческого духовенства [История 1999: 241].) Что же касается самого Федора Порошина, то его происхождение, а также причины и подлинные обстоятельства исчезновения казачьего есаула из Москвы должны стать предметом дальнейшего изучения. Возможно, какое-то влияние на направление этих поисков окажет имя некоего «жильца» Ивашки Порошина, упоминавшегося среди вернувшихся с Дона гонцов Посольского Приказа в документах Донских дел 1629–1630 годов [РИБ 18: ст. 287–290, 317].

3) Основным назначением «Повести об азовском сидении» была попытка автора (или авторов) обратиться лично к царю Михаилу Федоровичу со своеобразным призывом вмешаться в решение азовского вопроса. В связи с этим возможно допустить перенесение предполагаемого времени ее создания с конца декабря 1641 – начала января 1642 года [Робинсон 1948: 37] на более поздние сроки, например февраль–апрель того же года, когда, после закрытия Земского собора, московский государь, как представлялось автору, еще мог принять единоличное волевое решение о необходимости обороны Азова.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Попутно заметим, что сам по себе дерзкий тон отписки от 29 сентября 1640 года, вопреки утверждению А. Н. Робинсона, вряд ли мог стать непосредственной причиной ареста Федора Порошина, последовавшего более года спустя. Разбирательство, учиненное прибывшей в Москву осенью 1640 года казачьей станице, было, в том числе, частью важной политической игры по поддержанию паритета, которую вело московское правительство, не желавшее терять такого отважного оборонителя собственных границ, как донское казачество, и при этом чрезвычайно опасавшееся прямого конфликта с Турцией. Что же до утверждения о том, что казаки живут «не с вотчин, ни с поместий, с воды, да с травы», вызвавшего, по мнению исследова-

теля, особое неудовольствие властей, то оно было повторено есаулом при составлении следующей войсковой отписки — от 2 мая 1641 года [РИБ 24: ст. 155] — на сей раз вроде бы без особых последствий для гонцов. Вообще же, из всех упоминаний Федора Иванова Порошина в документах Донских дел ясно только одно — не в меру дерзкого и честолюбивого есаула в Войске не особо жаловали, а потому с относительной легкостью ссылались на него при разборе всех шероховатостей в дипломатической переписке.

² В «Повести об азовском осадном сидении» наблюдается, в частности, ряд отчетливых переключек со «Сказанием о Мамаевом побоище». Подробнее об этом см.: [Робинсон 1949: 219–220].

³ Характерно, что именно к XVII веку относятся первые дошедшие до нас переработки былин, такие как «Сказание о киевских богатырях», «Повесть о Сухане», тематика и стилистика которых довольно отчетливо переключаются с донской повестью.

⁴ Интересно, что аналогичная картина турецкой шумовой атаки даже в «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 году» Нестора-Искандера (произведение которого, в свою очередь, не лишено отчетливых эсхатологических черт) отличается как ощутимо большей реалистичностью, так и гораздо более обширной звуковой палитрой: «В 14 день турки, откликнувшие свою скверную молитву, нача в сурны играти, и в варганы и накры бити; и прикати пушки и пищали многие начаша бити град, тако и стреляти из ручных луков тмочисленных» [ПЛДР 5: 224–226].

⁵ Благодарю за консультацию К. А. Аверьянова.

⁶ Такое истолкование кажется тем более вероятным в свете фрагмента, упомянутого выше. В то же время в самом приглашении казакам перейти на сторону противника нет ничего невероятного, учитывая, что формирование янычарских частей из христиан, обращенных в ислам, было обычной практикой вплоть до конца XVII века (см.: [Брокгауз 82: 695–696]).

⁷ Интересно, что тема богатства московского государя как один из аргументов в пользу его невероятного могущества, а следовательно, значительного авторитета Русского государства на международной арене также прослеживается в документах Посольского Приказа. В Посольских книгах, например, зафиксирован такой случай: однажды бояре вернули показавшиеся им недостаточно солидными «поминки» «новоприбылого» кахетинского царевича Александра со словами: «У государя нашего столько его царские казны, что Иверскую землю велит серебром посыпать, а золотом покрыть, да и то недорого» [Рогожин 1994: 37].

ЛИТЕРАТУРА

Библия — Библия. Острог, 1581.

Брокгауз 82 — Энциклопедический словарь Брокгауза и Эвфрона. СПб., 1904. Т. 41а (82).

Дружинин 1889 — Дружинин В. Г. Раскол на Дону. СПб., 1889.

История 1999 — История внешней политики России. Конец XV — XVII век. М., 1999.

- Каган 1958 – *Каган М. Д.* Русская версия 70-х годов XVII века переписки запорожских казаков с турецким султаном // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. XIV. С. 309–315.
- Новосельский 1948 – *Новосельский А. А.* Борьба московского государства с татарами в XVII веке. М.; Л., 1948.
- ПЛДР 5 – Памятники литературы Древней Руси. Вып. 5: Вторая половина XV века. М., 1982.
- РИБ 18 – Русская историческая библиотека. Т. 18. СПб., 1898 (Донские дела. Т. 1).
- РИБ 24 – Русская историческая библиотека. Т. 24. СПб., 1906 (Донские дела. Т. 2).
- Робинсон 1946 – *Робинсон А. Н.* Из наблюдений над стилем Поэтической повести об Азове // Учен. зап. МГУ. М., 1946. Вып. 118. С. 43–71.
- Робинсон 1948 – *Робинсон А. Н.* Поэтическая повесть об Азове // ТОДРЛ. М.; Л., 1948. Т. 6. С. 24–59.
- Робинсон 1949 – *Робинсон А. Н.* Повесть об Азовском взятии и осадном сидении // М., 1949. С. 166–243.
- Рогожин 1994 – *Рогожин Н. М.* Посольские книги России конца XV – начала XVII в. М., 1994.
- Сутт 1939 – *Сутт Н. Я.* Повести об Азове // Учен. зап. кафедры русской литры МГПИ. М., 1939. Вып. 2. С. 3–68.
- Шумилов 1975 – *Шумилов В. Н.* Дело Земского собора 1639 года // Дворянство и крепостной строй в России XVI–XVIII вв. М., 1975. С. 293–302.